



«красное колесо»
**александра
солженицына**
опыт прочтения

андрей
немцев

Андрей Немзер

**«Красное Колесо» Александра
Солженицына. Опыт прочтения**

«ВЕБКНИГА»

2010

Немзер А. С.

«Красное Колесо» Александра Солженицына. Опыт прочтения /
А. С. Немзер — «ВЕБКНИГА», 2010

В книге известного критика и историка литературы, профессора кафедры словесности Государственного университета – Высшей школы экономики Андрея Немзера подробно анализируется и интерпретируется заветный труд Александра Солженицына – эпопея «Красное Колесо». Медленно читая все четыре Узла, обращая внимание на особенности поэтики каждого из них, автор стремится не упустить из виду целое завершенного и совершенного солженицынского эпоса. Пристальное внимание уделено композиции, сюжетостроению, системе символических лейтмотивов. Для А. Немзера равно важны «исторический» и «личностный» планы солженицынского повествования, постоянное сложное соотношение которых организует смысловое пространство «Красного Колеса». Книга адресована всем читателям, которым хотелось бы войти в поэтический мир «Красного Колеса», почувствовать его многомерность и стройность, проследить движение мысли Солженицына – художника и историка, обдумать те грозные исторические, этические, философские вопросы, что сопутствовали великому писателю в долгие десятилетия непрестанной и вдохновенной работы над «повествованием в отмеренных сроках», историей о трагическом противоборстве России и революции.

© Немзер А. С., 2010

© ВЕБКНИГА, 2010

Содержание

От автора	5
Глава I	11
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Андрей Семенович Немзер

«Красное Колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения

От автора

18 ноября 1936 г. студент-первокурсник физико-математического факультета Ростовского университета Александр Солженицын решил, что он должен написать большой роман о русской революции. Будущему великому писателю еще не исполнилось восемнадцати лет. Задуманная им книга, обернувшаяся в итоге десятью томами и получившая название «Красное Колесо. Повествование в отмеренных сроках», была завершена в 1989 г. В 1991-м ее полная версия открылась читателю – в 19-м и 20-м томах двадцатитомного Собрания сочинений Солженицына (Вермонт – Париж: YMCA-press) был опубликован «Апрель Семнадцатого» с приложением «Конспекта ненаписанных Узлов».

В те полвека с лишком, что разделили замысел и его воплощение, вместились: война; арест, тюрьма и следствие; лагеря и ссылка (которая должна была стать пожизненной); одоление смертельного недуга; беспрестанное потаенное писательство (в том числе создание первых редакций романа «В круге первом»); прорыв немоты (публикация в № 11 «Нового мира» за 1962 г. рассказа «Один день Ивана Денисовича»); всероссийская слава (хотя в отечестве удалось напечатать еще всего лишь четыре рассказа) и слава всемирная (8 октября 1970 г. Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе); противоборство со свирепым и бессовестным партийно-советским государством; напряженная и взрывоопасная работа над «опытом художественного исследования» «Архипелаг ГУЛАГ»; его публикация (первый том увидел свет в Париже 28 декабря 1973 г.), оказавшая огромное воздействие на ход мировой истории в последние десятилетия XX в.; изгнание из России (13 февраля 1974 г. арестованный накануне писатель был насильственно доставлен в Германию); жизнь на чужбине; многие тома художественных и публицистических сочинений.

По возвращении в Россию (1994) Солженицын продолжал вносить исправления в текст «Красного Колеса» – окончательная его редакция представлена в выходящем ныне тридцатитомном Собрании сочинений, которое издательство «Время» открыло публикацией тома «Рассказов и крохоток» (напоминая, что первым услышанным миром и преобразившим мир словом Солженицына был рассказ «Один день Ивана Денисовича») и двух томов «Августа Четырнадцатого», за которыми последовали и три остальных Узла «повествования в отмеренных сроках». Так случилось, что представление общественности начальных книг Собрания пришлось на 18 ноября 2006 г. – со дня, когда ростовский студент различил первые неясные контуры своего заветного труда, прошло ровно семьдесят лет. Все эти годы были временем «Красного Колеса», все написанное Солженицыным, от первых литературных опытов, лишь сравнительно недавно ставших достоянием читателя, до «Архипелага...», переведенного на множество языков и хотя бы по названию известного миллионам людей, обретающихся по всей Земле, все жизненное дело нашего великого соотечественника (и совсем недавно – современника) существует при свете «повествования в отмеренных сроках» – трагического эпоса о победе революции над Россией.

Едва ли в истории литературы найдется другой пример столь страстной верности художника своему замыслу, столь неуклонного движения к некогда счастливо угаданной цели. Уже одно это обстоятельство должно было бы заставить читателей отнестись к «Красному Колесу» с особым вниманием. Если мы по-настоящему, а не ритуально ценим «Один день Ивана Дени-

совича» и «Матрёнин двор», «В круге первом» и «Раковый корпус», «Правую кисть», «Как жаль» и «Пасхальный крестный ход», крохотки и «Архипелаг ГУЛАГ», если ищем и находим в этих и других произведениях Солженицына новые и новые (подчас неожиданные) большие смыслы, если видим в их авторе великого писателя (о тех, кто мыслит на сей счет иначе, здесь речь не идет), то, кажется, невозможно игнорировать труд, которому он посвятил всю свою жизнь.

Увы, возможно. Мы вправе указать на ряд исследований и эссе, в которых глубоко и проницательно характеризуются те или иные эпизоды и персонажи «Красного Колеса», его «приемы», авторская позиция, переключки с литературной (исторической, философской, публицистической) традицией, но едва ли кто-то осмелится назвать «Красное Колесо» книгой *прочитанной*. Не осмелится – и будет прав, хотя такое определение не только допустимо, но и естественно (при понятных и отнюдь не этикетных оговорках о неисчерпаемости художественного смысла) в разговоре о «Евгении Онегине», «Мертвых душах», «Войне и мире» или «Братьях Карамазовых».

Здесь не место для выяснения и обсуждения совокупности разнородных причин сложившейся ситуации – это тема для отдельного (трудоемкого и очень нерадостного) исследования. Могу лишь заметить, что, на мой взгляд, Солженицына всегда читали *слишком быстро*. Это относится и к тем сочинениям, что были напечатаны в «Новом мире» (далеко не все читатели могли да и хотели разглядеть за «злободневной» составляющей «Одного дня...», «Матрёнина двора», «Случая на станции Кочетовка», «Для пользы дела» и «Захара-Калиты» глубинную их суть), и к тем, что ходили в самиздате (еще до высылки писателя его «легальной» прозе стал навязываться «самиздатский» статус; с 14 февраля 1974 г., когда Главное управление по охране государственных тайн издало приказ об изъятии произведений Солженицына из библиотек, пять пробившихся в советскую печать рассказов окончательно сравнялись с безусловно запрещенными сочинениями, уже изданными и издававшимися позднее на Западе). «Красное Колесо» оказалось в особенно тяжелом положении – расширенную редакцию «Августа Четырнадцатого» и «Октябрь Шестнадцатого» (опубликованы в 11—14-м томах вермонтского собрания в 1983–1984 гг.) было не только опасно читать в России, но они были и почти недоступны. То, что мне выпало прочесть их вскоре по выходе, считаю удачей, случайной и счастливой. Опубликованный в Вермонте же в 1986–1988 гг. (тома 15–18) «Март Семнадцатого» я «добыл» уже в новую эпоху. Подчеркну: я был московским гуманитарием, то есть принадлежал к кругу, в котором неподцензурные тексты циркулировали гораздо свободнее и активнее, чем в любом ином. Публикационное наводнение конца 1980-х – начала 90-х годов тоже худо споспешествовало вдумчивому чтению. Одновременно публике стало доступным великое множество сочинений весьма разных авторов и весьма разного качества. Понятное (очень человеческое) желание наверстать упущенное за долгие годы строго дозированного советского рациона и приобщиться разом *ко всему* (позднее трансформировавшееся в равнодушие к любой серьезной словесности), господствующая в обществе установка на «плюрализм любой ценой» и резко ускорившийся бег истории сильно мешали сделать осмысленный выбор. Четыре Узла «Красного Колеса» на протяжении четырех лет печатались в пяти журналах («Август Четырнадцатого» – «Звезда», 1990, № 1—12; «Октябрь Шестнадцатого» – «Наш современник», 1990, № 1—12; «Март Семнадцатого» – «Нева», 1990, № 1—12; «Волга», 1991, № 4–6, 8—10, 12; «Звезда», 1991, № 4–8; «Апрель Семнадцатого» – «Новый мир», 1992, № 3–6; «Звезда», 1993, № 3–6). Требовалась не только добрая воля, но и изрядный запас энергии, чтобы собрать (и тем более проштудировать) эту рассыпанную громаду. К сожалению, и появление репринтного издания «Красного Колеса» (М.: Воениздат, 1993–1997) существенно картины не изменило. «Повествование в отмеренных сроках» прочли далеко не все, кому его адресовал автор, а слишком многие из тех, кто его все же прочел, сделали это бегло, словно бы заранее зная, что в десяти томах сказано.

Между тем поэтический мир «Красного Колеса» организован совсем не просто, а глубокие, неоднозначные, иногда меж собой конфликтующие размышления Солженицына (о мире и месте в нем человека, общем ходе истории и его трагическом изломе в начале XX в., России и Европе, мучительной и нерасторжимой связи нашего прошлого и нашего будущего и т. д.) куда как далеки от расхожих и «удобных» для недобросовестной полемики штампов, которыми они то и дело подменяются. Неспешно и пристально читать «Красное Колесо», следить за движением авторской мысли, фиксировать неожиданные мотивные переключки, которые бросают новый свет на «понятные» эпизоды, всматриваться в лица и разгадывать души множества неповторимых персонажей, вслушиваться в мелодию солженицынской фразы, открывать в тексте, только что казавшемся тебе знакомым и прозрачным, новые смысловые обертоны – настоящая радость. Недостижимая, как и при общении с другими великими книгами, без достаточно напряженной интеллектуальной и душевной работы.

Как-то в середине 90-х остроумный коллега, одарив меня широкой улыбкой, сообщил: «Есть свежий анекдот. Про вас. Короткий». И подмигнув, спросил: «Рассказать?» Я не стал скрывать понятного (думаю, простительного) любопытства. И услышал: «А. Н. прочитал пять раз подряд “Красное Колесо”». Пришлось разочаровать собеседника (скорее всего он же был автором этой, притворяющейся анекдотом, в общем удачной эпитаграммы). Признался я, что столь впечатляющих результатов, увы, не достиг. Но готов в этом направлении работать. Не знаю, что бы сказал сейчас. Потому что понятия не имею, сколько раз перечитывал каждый из Узлов (наверно, «Апрель...», о котором писал позже всего, – больше, чем три остальных, ибо обращаться к нему приходилось и когда работал с «Августом...», «Октябрём...», «Мартом...»). Не считал. Так ведь и с Державиным, Жуковским, Пушкиным, Тютчевым, Гоголем, Лермонтовым, Некрасовым, Гончаровым, Тургеневым, Островским, Фетом, Достоевским, Толстым, Чеховым, Анненским, Блоком, Ходасевичем, Пастернаком, Мандельштамом, Булгаковым, Набоковым и много кем еще (с весомой частью русской литературы) – та же самая история. Вне зависимости от того, занимался я тем или иным художником специально или нет, люблю его очень сильно – как, например, Солженицына – или «не очень».

Да, я много, используя навыки историка русской литературы, азартно и с удовольствием читал Солженицына (разумеется, не одно «Красное Колесо»). И уверен, что буду его перечитывать и по выходе этой книги. Мне это важно. Думаю, не мне одному. Именно поэтому я счел возможным поделиться своим опытом читателя «повествования в отмеренных сроках» с теми, кому дороги (или, скажем аккуратнее, интересны) Солженицын и дело его жизни.

Предлагаемая вашему вниманию книга, как и опубликованные в выходящем Собрании сочинений сопроводительные статьи к четырем Узлам, из которых она сложилась, не могут и не должны рассматриваться как историко-филологическое исследование. Хотелось иного – провести читателя по тем лабиринтам солженицынской поэтической мысли, что не отпускали и не отпускают меня уже не второе десятилетие. Это именно «опыт прочтения» или, если угодно, путеводитель по огромному миру «Красного Колеса».

Отсюда ряд особенностей моего сочинения, неуместных в работе научной, но здесь, кажется, оправданных жанровой задачей. Так, за кадром остаются многие весьма интересные и требующие тщательного рассмотрения проблемы. Например, вопрос о работе писателя с источниками – официальными документами, газетами, эпистолярием, мемуаристикой, как известными прежде, так и впервые выводимыми на свет автором «Красного Колеса». Или анализ весьма пестрого и своеобразного лексического состава повествования, особенностей его синтаксиса и пунктуации. Или обследование переходов от авторской к несобственно прямой речи, постоянной и прихотливой смены точек зрения (об этом говорится и меньше, и случайнее, и огрубленнее, чем следовало бы). Да и сюжетосложение, композиция, характерология, система символических лейтмотивов, реминисценции классики и словесности Серебряного века в монографии, адресованной профессионалам, описывались и интерпретировались бы

более строго и дифференцированно. И вследствие того – суше, чего мне в этой книге хотелось избежать. По той же причине я сознательно избегал ссылок на работы коллег, в том числе высоко ценимые и сказавшиеся на моих размышлениях о «Красном Колесе». Не только полемика, но и уточнение позиций (даже сходные наблюдения и выводы, как правило, получают у разных авторов далеко не тождественные огласовки) сильно отвлекают от сути дела – реальности художественного текста и его истолкования. Я предлагаю свой опыт прочтения солженицынского эпоса – о том, как понимают «Красное Колесо» (отдельные его Узлы, сюжетные линии, поэтический строй, историческую и философскую концепцию) другие историки литературы и критики, читатель при желании сможет узнать, обратившись к их трудам, перечисленным в замыкающем книгу списке литературы.

Наконец, но не в последнюю очередь избранный мной жанр обусловил композицию книги. В пяти главах последовательно, один за другим, анализируются четыре Узла и Конспект ненаписанных Узлов. Мы движемся по тексту «Красного Колеса», наблюдая не только ход истории (объект Солженицына), но и смысловое возрастание самого повествования. Разумеется, обойтись без возвращений к уже прочитанному было невозможно. Как и без заходов (не частых, но порой крайне необходимых) в текстовое будущее. Загадка, которой Варсонофьев озадачивает уходящих на фронт Саню и Котю («Август Четырнадцатого»), получает разгадку лишь при второй встрече молодого героя со «звездочётом» («Апрель Семнадцатого»). Это случай особенно яркий и наглядный, но далеко не единственный. Не избегая повторов вовсе (истолкованный ранее эпизод в новом, расширившемся, контексте приобретает несколько иную смысловую окраску, изменения персонажей заставляют иначе оценивать их прошлое), я все же стремился идти от «начала» к «концу». В частности, потому довольно подробно анализировал зачинную главу «Августа...», финальную – «Апреля...» и Пятый Эпилог – формально не включенную в состав «повествования», но значимо в нем присутствующую трагедию «Пленники». Такой подход не подразумевает предварительного «общего взгляда» на рассматриваемое (постигаемое) нами сочинение. Его неповторимая статья, его мировоззренческие основы, его поэтика, его органические связи с большой литературной традицией, целым солженицынским космосом и судьбой автора должны раскрываться читателю постепенно, становясь – по мере движения от Узла к Узлу – все более отчетливыми.

Ограничусь лишь двумя тезисами общего характера – оба будут не раз конкретизироваться и уточняться в дальнейшем. Во-первых, читая «Красное Колесо», в равной мере важно все время помнить и об «отдельности» и «особости» каждого из четырех Узлов (имею в виду не только и не столько самоочевидное различие «исторического материала», но изменения художественного языка, жанровые модификации, сказывающиеся на колеблющемся балансе «личного» и «исторического», а потому – на сюжетосложении и композиции), и о смысловом единстве целого, общей перспективе повествования, его художественной завершенности. Последнему вовсе не противоречит изменение первоначального авторского замысла – установка рассказа о русской революции на «Апреле Семнадцатого». Эта проблема подробно рассматривается в IV и V главах предлежащей книги.

Во-вторых, Солженицын твердо убежден, что революция разрушает не один государственный строй, но истинный миропорядок. Это бунт против Бога; главная цель революции – низвержение и унижение свободного человека, созданного по образу и подобию Божьему. Все остальное – сокрушение государства, хозяйства, общества, культуры – промежуточные этапы на пути к полному порабощению человека, уничтожению личности как таковой. Революция вершится людьми, забывшими Бога (и потому не ведающими, что творят, какую участь себе же выковывают), но и противостоят революции тоже люди. Те, в ком живы нравственные начала, те, кто угадывает свое назначение, те, кто, оставаясь на своем месте, хранят верность долгу и высшим заветам. Борьба добра и зла идет не только в политической сфере, но и – прежде того – в человеческих сердцах. Завораживающе подробно реконструируя историческую реаль-

ность 1914–1917 годов и вписывая в нее многочисленные линии «личных» – вымышленных – сюжетов, Солженицын выстраивал единую книгу, ищущую ответы на три теснейшим образом связанных мучительных вопроса:

Почему революция победила Россию?

Что значила победа революции для нашей страны и всего мира?

Сумеем ли мы (или наши дети и внуки) остановить всепоглощающий безжалостный раскат Красного Колеса?

Дабы ответить на эти вопросы, дабы обрести вновь историю и Россию, дабы наметить путь в будущее (а об этом Солженицын думал всю жизнь), надо, не игнорируя сферу политической истории вовсе, над ней возвыситься. Что и происходит в «Красном Колесе», где человеческие истории постоянно сопрягаются с историей человечества, ибо разыгрываются в едином – не нами созданном – мире.

Мне кажется, что важными ориентирами при чтении «Красного Колеса» могут послужить два небольших фрагмента этого повествования. В одном речь идет об истории как органической части истинной жизни, в другом – о самой жизни, которая никогда не может вполне подчиниться сколь угодно остервенелому злу.

История растёт как дерево живое. И разум для неё топор, разумом вы её не вырастите. Или, если хотите, история – река, у неё свои законы течений, поворотов, завихрений. Но приходят умники и говорят, что она – загнивающий пруд, и надо перепустить её в другую, лучшую, яму, только правильно выбрать место, где канаву прокопать. Но реку, но струю прервать нельзя, её только на вершок разорви – уже нет струи. А нам предлагают рвать её на тысячу саженей. Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев – это и есть связь струи.
(А-14: 42)¹

Так наставляет отправляющихся на войну юношей «звездочет» Варсонофьев, чей голос здесь сливается с авторским. А вот о чем думают один из этих юношей (Саня Лаженицын) и десять дней назад впервые встреченная им девушка (Ксенья Томчак), сразу поверившие, что они – суженые. Так счастливо и полно поверившие, что их мысли (или речи?) нельзя разделить. Как и отделить от сплавившихся воедино голосов персонажей (чьи прототипы – родители автора) объемлющий их голос самого Солженицына:

Война, – но от любви, от веры в продолжение нашей жизни – такая крепость!

Есть ли что-нибудь на свете сильнее – линии жизни, просто жизни, как она сцепляется и вяжется от предков к потомкам?
(А-17: 156)

Многие положения этой книги оформились в ходе подготовки и чтения спецкурса о творчестве Солженицына в Тартуском университете (2001) и общих историко-литературных курсов в Российской академии театрального искусства (ГИТИС) и в Государственном университете – Высшей школе экономики (отделение политической и деловой журналистики). Некоторые разработанные в книге темы легли в основу докладов, прочитанных на Международной конфе-

¹ Здесь и далее «Красное Колесо» цитируется по последней авторской редакции: Солженицын Александр. Собр. соч. В 30 т. М.: Время, 2006–2009. Т. 7—16. Поскольку издание это доступно не всем читателям, при цитировании или упоминании эпизодов отсылки в скобках даются не к томам и страницам, а к Узлам и (после двоеточия) главам. Для обозначения Узлов используются сокращения: А-14 – «Август Четырнадцатого»; О-16 – «Октябрь Шестнадцатого»; М-17 – «Март Семнадцатого»; А-17 – «Апрель Семнадцатого». Если буквенное сокращение отсутствует (приведена только цифра), имеется в виду тот Узел, которому посвящена соответствующая глава предлежащей книги. Например, в Главе I ссылка на эпизод беседы Сани и Коти с Варсонофьевым – (48), в Главе IV ссылка на тот же эпизод – (А-14: 48). Все специально не оговоренные шрифтовые выделения в цитатах (курсив, разрядка, прописные буквы и др.) принадлежат Солженицыну.

ренции к 90-летию А. И. Солженицына «Путь А. И. Солженицына в контексте большого времени» (Москва, 2008), Лотмановском семинаре (Тарту, 2009), Международном коллоквиуме «Наш современник Александр Солженицын» (Париж, 2009). Я признателен всем коллегам и студентам, что слушали мои лекции и доклады, задавали вопросы, участвовали в обсуждениях.

Моя книга не была бы написана, если бы на протяжении долгих лет мне не довелось разговаривать о Солженицыне (конечно, не только о «Красном Колесе», но и о других его сочинениях, его судьбе, его миссии, его месте в истории России и русской литературы) с очень разными людьми. В первую очередь, с моими родителями – Лидией Петровной Соболевой (1924–1998) и Семеном Ароновичем Немзером (1923–2007). От них я узнал о том, что есть такой писатель; они предложили то ли восьми-, то ли девятилетнему мальчику прочитать рассказ «Захар-Калита» («*Ведь тебе интересна история?*»); с ними быстро, страницы передавая (а как иначе?) читал самиздатскую машинопись романа «В круге первом»; с ними переживал ужас от высылки Солженицына и вырезал из газет лживые заметки, клеймящие «литературного вдовца» (сходный комплект вырезок отец собрал о «деле Пастернака»; сохранились оба); с ними слушал по «Немецкой волне» сквозь треск глушилок главы «Архипелага...»; с ними (особенно подолгу с мамой) обсуждал уже в другую эпоху «Красное Колесо».

Я сердечно благодарен другим моим собеседникам (иногда – резким и въедливым оппонентам), давним и недавним, утратившим всякую со мной связь и сохранившим по сей день добрые отношения, ушедшим – А. Л. Агееву, Б. И. Берману, С. И. Липкину, А. А. Носову, А. М. Пескову, – и здравствующим – П. М. Алешковскому, А. Н. Архангельскому, Е. Г. Балзамо (Орловской), Л. В. Бахнову, М. В. Безродному, В. М. Белоусовой, С. Г. Боровикову, А. М. Гладковой, М. В. и А. Б. Голубовским, Г. Н. Гордеевой, А. В. Дмитриеву, А. Л. Зорину, Н. Н. Зубкову, А. А. Ильину-Томичу, В. Я. Калнынышу, И. М. Каминскому, Е. А. Кантор, Т. Ю. Кибирову, Л. Н. Киселевой (кроме прочего, по ее настоятельной инициативе в 2001 году я читал спецкурс о Солженицыне в Тартуском университете), М. А. Колерову, С. П. Костырко, Р. Г. Лейбову, О. А. Лекманову, И. А. Лепихову, И. В. Машковской, Г. И. Медведевой, В. К. Мершавко, Г. Л. Миксон (в ее киевской квартире выпало читать «В круге первом»), В. А. Мильчиной, А. А. Немзер, Ж. Нива, А. Л. Осповату, Н. Г. Охотину (благодаря которому я познакомился с двухтомным «Августом Четырнадцатого» и «Октябрем Шестнадцатого»), Б. Н. Пастернаку, Е. Н. Пенской, Л. Л. Пильд, А. А. Поливановой-Баранович, К. М. Поливанову, В. Ю. Потапову, О. А. Проскурину, Н. А. Рагозиной, К. Ю. Рогову, А. И. Слаповскому, Л. И. Соболеву, М. Ю. Соколову, Н. П. Соколову, Е. Н. Солнцевой, И. З. Сурат, Р. Темпесту, Т. Л. Тимаковой, Е. В. Харитоновой, М. О. Чудаковой, С. И. Чупринину, Е. А. Шкловскому, Е. Я. и А. Д. Шмелевым, Д. В. Шушарину, Т. Н. Эйдельман.

Книга, как было сказано выше, выросла из сопроводительных статей к четырем Узлам «Красного Колеса» в тридцатитомном Собрании сочинений. Александр Исаевич и Наталия Дмитриевна Солженицыны читали первоначальные варианты статей. Статья об «Апреле Семнадцатого» была завершена уже после смерти Александра Исаевича; с ней работала только Наталия Дмитриевна. Их доброжелательные, конструктивные и точные замечания я по мере разумения стремился учесть при доработке статей и складывании книги. Не могу найти надлежащих слов, чтобы выразить переполнявшее при всех наших беседах и навсегда оставшееся со мной чувство восхищенной благодарности автору и первому редактору «повествования в отмеренных сроках» – благодарности за мудрые и стимулирующие мысль советы, снисходительность к моим промахам, высокое доверие, одарившее меня счастьем работы над истолкованием «Красного Колеса».

Глава I

Она уже пришла: «Август четырнадцатого»

Четыре Узла «Красного Колеса» устроены весьма различно, но, выявляя и истолковывая неповторимость каждого из них, мы не должны игнорировать общность смыслового рисунка «повествования в отмеренных сроках», единство организующих всю десяти томную эпопею художественных принципов. Принципы эти естественным образом обнаруживаются в Узле Первом – «Августе Четырнадцатого». Здесь Солженицын не только завязывает главный исторический сюжет (утверждая необходимость именно такой завязки!), но и вводит нас в свой поэтический мир, предлагает те «правила», руководствуясь которыми мы сможем приблизиться к его заветной мысли, понять, с какой вестью писатель к нам обращается. Приступая к знакомству с «Августом Четырнадцатого», едва ли не всякий читатель испытывает разом два противоборствующих чувства, которые в той или иной степени сохраняются (должны сохраняться!) и при дальнейшем чтении «Красного Колеса». С одной стороны, могучий напор крайне разнообразного и сложно организованного материала рождает мысль о хаотичности истории; с другой – ощутимо властное (хотя порой и скрытое) присутствие воли художника стимулирует наше стремление к поискам общего смысла множества «разбегающихся» историй.

В «Августе Четырнадцатого» (как и в «Красном Колесе» в целом) нет «случайностей», как нет самодостаточных персонажей, эпизодов, деталей, символов. Каждый фрагмент текста не раз отзовется в иных точках повествования, иногда отделенных от него десятками глав и сотнями страниц. Солженицын противостоит энтропии не только как историк и философ, но и как художник – самим строем своей книги о судьбе сорвавшейся в хаос России. Важно понять, однако, что писатель сознательно избегает легких путей, мнимо выигрышного упрощения постигаемой им (и нами) реальности, навязывания однозначных концепций. Солженицын строит свой поэтический мир, рассчитывая на внимательного, памятливого и думающего читателя. В такого читателя он верит, а вера эта подразумевает высокую требовательность.

Обилие весьма подробно охарактеризованных персонажей; невозможность с ходу (пожалуй, не только с ходу) отделить сквозных героев от эпизодических; резкие пространственные переносы действия; экскурсы в прошлое (как в индивидуальные или семейные предыстории, так и в историю России; особенно важно здесь огромное отступление «Из Узлов предыдущих», посвященное Столыпину и императору Николаю II – 63–74); предположения о будущем (например, мысли Самсонова о возможности новых поражений и возобновлении после них революционной смуты – 48); переходы от привычного «романного» повествования (как правило, осложненного несобственно-прямой речью, что втягивает читателя в душевно-идеологическое поле того или иного персонажа, заставляет на время в большей или меньшей мере признать его «частичную правоту») к главам «экранным» и построенным на коллаже документов; случайные (не предполагающие сюжетного развития, но с мощной психологической и обобщающе-символической нагрузкой!) встречи героев (например, Саши Ленартовича с генералом Самсоновым, которому вскоре предстоит умереть – 45) – все эти (и многие иные) зримые знаки «хаотичности» на самом деле сигнализируют вовсе не о бессмысленности происходящего, но о скрытом от обыденного сознания большом смысле как национальной (и мировой) истории, так и всякой человеческой судьбы.

Об иррациональности истории говорит уходящим на войну юношам «звездочет» Варсонофьев, предостерегая от наивных и опасных попыток вмешательства в ее таинственный ход (который сравнивается с ростом дерева и течением реки), но он же, в том же самом разговоре утверждает: «Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека». Если так, то «порядок мировых

вещей» (отнюдь не равный бушующему хаосу, страшное высвобождение которого и описывает Солженицын в «Красном Колесе»!) существует. И ставит перед каждым человеком некую задачу, таинственно указывает на его назначение, разгадать которое, однако, еще сложнее, чем загадку, ответ на которую не дается Сани и Коте, хотя синоним искомого слова был произнесен всего несколькими минутами раньше («Всякий истинный путь очень труден <...>. Да почти и незрим»). Будущим воинам только кажется, что Варсонофьев меняет темы беседы, на самом деле он все время ведет речь об одном и том же. И свое назначение, и ту «справедливость, дух которой существует до нас, без нас и сам по себе», и мерцающий в народной загадке поэтический образ (назван он будет лишь в завершающем Узле – А-17: 180; на его особую значимость указывает итожащая главу, уже не Варсонофьевым произнесенная пословица – «КОРОТКА РАЗГАДКА, ДА СЕМЬ ВЁРСТ ПРАВДЫ В НЕЙ») необходимо *«угадать»*. И это позволит хоть в какой-то мере приблизиться к «главному вопросу», о котором так печется Котя и на который, по слову Варсонофьева, «и никто никогда не ответит».

Не ответит – лично, ибо «на главные вопросы – и ответы круговые» (42). Что не отменяет, а предполагает поиск своего назначения в мире, противостояние искушениям (легким и лгущим ответам как на ежедневно встающие вопросы, так и на вопросы всемирно исторического объема), обретение и сохранение душевного строя. Все это возможно лишь в том случае, если иррациональность истории (непостижимость ее хода для отдельного ума, способность истории опровергать, отвергать или видимо принимать навязываемые рецепты, дабы потом отмщать за них сторицей) не отождествляется с фатальной бессмысленностью. Если хаос (в частности, тот, что охватил XX веке не одну только Россию) не приравнивается к естественному состоянию мира. Если осознание сложности бытия («Кто мало развит – тот заносчив, кто развился глубоко – становится смиренен» – 42; еще одна реплика Варсонофьева) и способность слышать «разные правды»² не приводит к отказу от стремления к собственно правде, от нравственного выбора, требующего реализации в конкретном действии.

Такое понимание истории и человека не могло не сказаться на художественной логике «повествования в отмеренных сроках». Многогеройность необходима Солженицыну не только для того, чтобы представить как можно больше социокультурных типажей, обретавшихся в Российской империи накануне ее катастрофы (хотя эта задача, разумеется, важна³), но в первую очередь для того, чтобы выявить разнообразие человеческих *личностей*, оказавшихся втянутыми в исторический процесс, разнообразие их реакций на страшные вызовы времени, обнаружить несходство в сходном (человек зависит от своего происхождения, семьи, воспитания, рода деятельности, образования, но изображенные Солженицыным «крестьяне», «генералы» или «революционеры» думают, чувствуют и действуют отнюдь не по каким-то общим «крестьянским», «генеральским» или «революционерским» схемам) и неожиданное внутреннее тождество при нагляднейших различиях (разнонаправленные действия либо бездействия всех участников исторической трагедии – от Государя до Ленина, от генералитета до мужиков и фабричных – обеспечивают ее чудовищный финал). Личные истории персонажей не «допол-

² Вспомним о переходе Сани Лаженицына от первоначальной захваченности всякой новой философской или социально-исторической концепцией к растерянности: «И стал брать его от книг – страх, не прежняя почтительная радость: что никак он не научится автору противостоять, что увлекает и подчиняет его каждая последняя читанная книга» (2). Цитируется здесь характеристика ложного героя поэмы Некрасова «Саша», уподобиться которому страшится Саня: «Что ему книга последняя скажет, / То на душе его сверху и ляжет: // Верить, не верить – ему всё равно, / Лишь бы доказано было умно!» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1982. Т. 4. С. 25).

³ Тут уместно напомнить, как Герасимович рассказывает Бобынину о «ещё не написанной» картине «Русь уходящая»: «Тут – название, идея. На Руси были консерваторы, реформаторы, государственные деятели – их нет. На Руси были священники, проповедники, самозванные домашние богословы, еретики, раскольники – их нет. На Руси были писатели, философы, историки, социологи, экономисты – их нет. Наконец, были революционеры, конспираторы, бомбометатели, бунтари – нет и их. Были мастеровые с ремешками в волосах, сеятели с бородой по пояс, крестьяне на тройках, лихие казаки, вольные бродяги – никого, никого их нет! Мохнатая чёрная лапа сгребла их всех за первую дюжину лет» (Солженицын Александр. В круге первом. М., 1990. Т. 2. С. 243–244).

няют» большую историю (и тем более – не отвлекают от нее), но объясняют, почему она в итоге приняла именно такое течение.

«Хаотичность» и «мозаичность» запечатлеваемых Солженицыным событий подчинена скрытой мощной логике. Каждый из Узлов «Красного Колеса» – тщательно и точно выстроенная книга, где сцепления «случайных» событий и переключки подчас далеко друг от друга отстоящих мотивов образуют концептуально нагруженный, допускающий в Узлах последующих (в частности, ненаписанных) развитие, усложнение и переосмысление, но художественно завершённый сюжет. Обдумывая и выстраивая «Красное Колесо», Солженицын знал, почему его заветный труд должен открыться изображением первых дней Первой мировой, а завершиться событиями 1945 года (согласно конспекту «На обрыве повествования» – ЭПИЛОГ ПЯТЫЙ).

Все события (как «личные», так и исторические) «Августа Четырнадцатого» должно видеть в тройной перспективе: во-первых, собственно Первого Узла; во-вторых, четырех Узлов (то есть осуществленного «повествования в отмеренных сроках»); в-третьих, первоначального (двадцать Узлов) замысла, отблески которого не раз возникают в тексте. С особой отчетливостью эта тройная перспектива прорисовывается в разговоре, который ведут в Грюнфлиссском лесу выходящие из окружения Воротынцев и Ярик Харитонов. Разговору предшествуют грустные воспоминания Воротынцева о прежней жизни с Алиной и предположения о ее безутешном горе в случае гибели мужа.

Впрочем, всё проплывало и было действительно лишь на случай, если умрёшь. А я...

– ...Я-то ничем не рискую, мне обеспечено остаться в живых, – усмехнулся Воротынцев Харитонову, лёжа с ним рядом на животах, на одной шинели.

– Да? Почему? – серьёзно верил и радовался веснушчатый мальчик.

– А мне в Маньчжурии старый китаец гадал.

– И что же? – впитывал Ярослав, влюблённо глядя на полковника.

– Нагадал, что на той войне меня не убьют, и на сколько бы войн ни пошёл – не убьют. А умру всё равно военной смертью, в шестьдесят девять лет. Для профессионального военного – разве не счастливое предсказание?

– Великолепное! И, подождите, в каком же это будет году?

– Да даже не выговоришь: в тысяча-девятьсот-сорок-пятом.

(55)

И персонажи, и читатели, естественно, сосредоточены на конкретной (весьма опасной) ситуации – в этом контексте предсказание китайца указывает на благополучный финал описываемого эпизода: герои предпочитают надеяться на лучшее (Воротынцев и рассказывает о гадании кроме прочего для того, чтобы ободрить юного офицера), а читатели, обладающие некоторым литературным опытом, справедливо полагают, что введение в текст ложного пророчества куда менее функционально (а потому и куда менее вероятно), чем появление предсказания истинного (и многопланового). Глава завершается рывком окруженцев, как выяснится – удачным. Читатель, впрочем, узнает о том, лишь миновав еще 25 глав, при описании встречи Воротынцева с великим князем Николаем Николаевичем; здесь мимоходом упомянуты вышедшие с Воротынцевым к своим Благодарёв и Харитонов (80). Разумеется, предсказание и применительно к грюнфлиссской ситуации могло оказаться не столь счастливым. В живых мог остаться один Воротынцев, окруженцы могли попасть в плен⁴ (ни сохранения жизни спутников, ни

⁴ Сдаться в плен опрометчиво мечтал (и для того дезертировал) случайно ставший спутником Воротынцева Саша Ленартович (45). Попадет в плен и испытает весь его кошмар военный врач Федонин. В этом плане важен его спор с Ленартовичем о войне и офицерском долге (15). В главе о судьбе русского госпиталя в Найденбурге, следующей непосредственно за главой

невозможности пленения китаец не гарантировал!) – эти сюжетные альтернативы могут (и, пожалуй, должны) возникнуть в поле первочитательских ожиданий, но вряд ли окажутся там доминирующими. Именно потому, что одновременно с перспективой эпизода (и первого Узла) прорисовывается перспектива «большой истории» (и судьбы Воротынцева) – отнюдь не для героев, но для нас, воспринимающих 1945-й не как будущее, но как доподлинно известное прошлое.

Здесь-то в предсказании и проступают дополнительные – страшные – смыслы. Сегоднешний читатель может знать, что полковник Воротынцев появлялся в трагедии «Пленники» (1952–1953; первая публикация – 1980). Действие ее происходит 9 июля 1945 года в одной из контрразведок СМЕРШ. В 11-й (предпоследней) картине чекист Рублёв сообщает 69-летнему Воротынцеву, что тот будет даже не расстрелян, а повешен, и предлагает ему спастись самоубийством (Воротынцев может выпить яд – вместе со смертельно больным Рублёвым). Полковник императорской армии отвергает предложение, рассказывает (как в 55-й главе «Августа Четырнадцатого») о давнем предсказании китайца и объясняет: «смерть от врага после войны – тоже военная смерть. Но – от врага. А – от себя? Некрасиво. Не военная. Вот именно трусость. И зачем же снимать с ваших рук хоть одно убийство? брать на себя? Нет, пусть будет и это – на вас!» Существенно, что ранее, перечисляя выпавшие на его долю «российские отступления» (самым страшным из которых стал уход белых из Крыма, оставление России), Воротынцев упоминает отступления мукденское и описанное в «Августе Четырнадцатого» найденбургское (картина 2-я).⁵

Перекличка «Пленников» и «Августа Четырнадцатого» входит в авторские намерения (подробнее об этом будет сказано в Главе V), но и незнакомый с трагедией читатель поймет зловещую иронию «счастливого предсказания»: Воротынцев погибнет не на войне, но в победном 1945 году. Догадаться, почему и как это случится, совсем нетрудно: мысль о развязке в духе «Пленников» приходит сама собой. В принципе, читатель может выстроить другие – на мой взгляд, гораздо менее правдоподобные – гипотезы. Например, Воротынцев, не покинувший после Гражданской войны Россию, тихо доживает до немецкого вторжения, сражается на стороне Германии и по окончании войны попадает в СМЕРШ. Или, приняв – рано или поздно – сторону большевиков (как поступило не столь уж мало царских генералов и полковников), служит в Красной Армии, воюет до победы, а затем становится жертвой чекистов. Возможны и еще более фантастические версии. Но любые варианты судьбы героя (повторяю, куда менее вероятные, чем запечатленный в «Пленниках») не меняют сути дела. Гибель достойного русского офицера (а к 55-й главе «Августа...» читатель уже проникся огромной симпатией к Воротынцеву) сразу после победы его страны в Великой войне – не только личная трагедия (что не отменяет героизма – потому восторг Воротынцева и Харитоновы от «великолепного» пророчества разом и опровергается, и оправдывается автором), но и знак трагедии общероссийской. Страшная двусмысленность победы 1945 года (одновременно победы России и победы над Россией большевистской власти) – следствие тех событий, что описаны в «Августе Четырнадцатого». Выигрыш героев, сумевших уйти из окружения, – выигрыш временный: миновать общей беды не удастся никому.

о прорыве группы Воротынцева, то есть об избавлении Ленартовича от плена, Федонин только бегло упомянут (56): значимо, что он оставался на своем месте до конца. О том, что Федонин попал в плен – причем именно в августе 1914 года, – мы узнаем в Четвертом Узле, когда военный врач возвращается в Россию: «Тридцать два месяца, даже и с лишним, девятьсот восемьдесят дней пробыл доктор Федонин в германском плену» (А-17: 176; там же говорится о бесчеловечности в обращении немцев с военнопленными; подробнее этот эпизод будет рассмотрен в Главе IV). Заметим, что собственно «военная» часть «Августа Четырнадцатого» завершается «экранной» главой, в финале которой возникает: «= Новинка! кон-цен-тра-ционный лагерь!» (58). Обратим внимание на соседство (56-я и 57-я главы коротки) и теснейшую смысловую связь (наглядные итоги самсоновской катастрофы) главы 55-й (с упоминанием 1945 года) и главы 58-й.

⁵ Солженицын А. Пьесы. М., 1990. С. 244, 152.

Разбираемый эпизод открывает, однако, наряду с «краткосрочной» (рамки Первого Узла) и «общей» (рамки замысленного и в итоге контурно намеченного повествования) перспективами и еще одну – так сказать, «среднесрочную». Это «личный» сюжет Воротынцева (болезненно, но крепко сцепленный с сюжетом его служения, а стало быть, и с общим – историей национальной катастрофы, которую полковник, как и прочие персонажи, не смог одолеть), развивающийся в пространстве четырех завершенных Узлов. Мысли Воротынцева о былой вине перед женой и намеком представленные надежды на светлое послевоенное будущее (их можно соотнести с прожеками Романа Томчака о совместном с женой путешествии по ее «заветному маршруту» – 9) вводятся в текст после того, как мы узнали о наметившемся в семье полковника тихом разладе, который придал легкости его отъезду на войну (13), после вещего сна в Узду, в котором Воротынцев обретает свою будущую любовь («о н а! точно она! та самая невыразимо близкая, заменяющая весь женский мир!») и осознает жену «помехой» (25). Читателю (если он не забыл 13-ю и 25-ю главы!) дается сигнал: семейного счастья у Воротынцева не будет.

О том, что же будет в личной жизни полковника, «Август Четырнадцатого» умалчивает. Лишь в следующем Узле (О-16: 21–29) мы (вместе с героем) медленно распознаем в неведомой и безымянной женщине, которая приснилась Воротынцеву в Узду, Ольду Андозерскую, появляющуюся на страницах «Августа» лишь однажды и вовсе не в «воротынцевском» контексте (75).⁶

Сходным образом в рамках «Августа» читатель не может осознать всю значимость скрепления лаженицынской и томчаковской линий в самом начале Узла. Проезжая мимо экономии, Саня замечает:

...на угловом резном балконе – явная фигурка женщины в белом, – в беспечном белом, нетрудовом.

Наверно, молодой. Наверно, прелестной.

И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда.

(2)

Саня Лаженицын увидел Ирину Томчак, которая «перешла на солнечную сторону, на балкон-веранду, сощурилась на поезд...» (3). При первом чтении мы можем оценить лишь эффект монтажа, мотивирующего переход от одного персонажа к другим, но и намека на будущую, произошедшую в Четвертом Узле судьбоносную встречу Сани Лаженицына и Ксении Томчак (А-17: 91) здесь нет. Аккуратный сигнал подан только в пояснениях к Первому Узлу: «Отец автора выведен почти под собственным именем, а семья матери доподлинно». Герои, даже обретая друг друга, не узнают об этом опосредованном соприкосновении – они могут только вдвоем его «домыслить» и осознать символичность этой «случайности» (такие намеки в тексте «Апреля...» есть и будут ниже рассмотрены). Саня видит не свою суженую, а жену ее брата, с которой действительно не встретится. (Понятно, что речь идет о персонажах, а не об их прототипах.)

Здесь (как отчасти и в истории Воротынцева и Андозерской) Солженицын тонко корректирует глубоко традиционные принципы романного сюжетосложения, замечательно явленные в «Войне и мире». В книге Толстого постоянно происходят «случайные» встречи (спасение княжны Марьи Николаем Ростовым от взбунтовавшихся богучаровцев; князь Андрей, видящий после Бородинского сражения тяжело раненного Анатоля Курагина; князь Андрей, оказывающийся в одном обозе с Ростовыми по оставлении Москвы; освобождение Пьера из плена отрядом Денисова и Долохова, совпадающее с гибелью Пети Ростова), символический смысл которых автором не педалируется, но и не утаивается. Толстому важно создать картину хао-

⁶ Это отождествление в дальнейшем становится все более сомнительным. Мы обманываемся и прозреваем вместе с героем. Подойдя к «открытому» финалу «Красного Колеса», внимательный читатель должен усомниться в том, что Андозерская – истинная суженая Воротынцева.

тического движения персонажей, но не менее важно обнаружить тайную логику, строящую их судьбы (и общую судьбу людского рода). Противоборство этих авторских устремлений приметно в эпизоде первой встречи Пьера и Наташи, случившейся в тот же день (чуть раньше), что и превращение незаконного сына, человека без состояния, статуса и определенных жизненных планов в богача и графа Безухова. Обычно читатель фиксирует лишь контраст праздника у Ростовых и агонии старого Безухова, всеобщей взаимной доброжелательности на балу и борьбы (войны) за портфель с завещанием. О том, что именно в точке внешнего поворота Пьер увидел (но еще не угадал) свою истинную жену, помнят реже. И еще реже – о том, что встреча произошла в Натальин день (именины графини Ростовой и ее младшей дочери), то есть в день будущего Бородинского сражения, в котором участвуют как «ложные» претенденты на руку Наташи (Борис Друбецкой, Денисов, Анатолий Курагин, Андрей Болконский), так и тот, кому она предназначена. Скрытость символики не отменяет ее весомости. В «мире» Толстого «случайностей» на самом деле нет (потому автор и может прийти на выручку любимым героям: смерть Элен оказывается и воздаянием за ее грехи, и необходимым условием для земного воплощения прежде свершившегося на небесах брака Наташи и Пьера). Эта тенденция еще более настойчиво проводится в «Докторе Живаго», последовательно строящемся на «скрещеньях» судеб: если иные персонажи не понимают, что с ними происходит, не распознают в новых знакомцах знакомцев старых, просто не замечают друг друга, то об этом прямо напоминает автор.⁷

Мир, изображаемый Солженицыным в «Красном Колесе», менее «плотен». Встречи героев далеко не всегда «отыгрываются» в их дальнейших судьбах или даже предполагают встречи новые. Укажем, например, на краткие соприкосновения Харитонов и Чернеги (19), Нечволодова и Смысловского (20–21), курсисток и Андозерской (75); после совместного выхода из окружения расходятся пути Воротынцева, Благодарёва, Харитонов и Ленартовича, хотя все четверо будут появляться на страницах следующих Узлов. Герои Солженицына часто не знают о своем сюжетном «соседстве», о том, что у них есть общие знакомые; их судьбы не перекрещиваются, но мягко, иногда – опосредованно, соприкасаются. Так выстраиваются цепи, неведомые персонажам, но ощутимые читателю: например, Воротынцев – Ленартович – Вероня и Ликоня – Андозерская; или Воротынцев – Харитонов – Ксения Томчак; или Воротынцев – Благодарёв – Саня Лаженицын, во взводе которого окажется (уже во Втором Узле) Арсений, перешедший по протекции Воротынцева в артиллерию. Эта неосведомленность персонажей о былых «почти встречах» (или незамеченных встречах?) иронически запечатлена в шутиливой перебранке Чернеги и Благодарёва, касающейся как раз событий «Августа...»: Чернега спрашивает:

...Если ты там был, в самсоновском окружении, – почему ж я тебя не видел? Где ты ходил?

– Так и я же вас не видел, – осклабился Благодарёв посмелей. – Сколько прошли – а вас не видали. Вы-то – были, что ль?
(О-16: 4)

Видели *обоих* (и, конечно, не только их) автор и читатель. Ограниченность знания всякого отдельного персонажа указывает на неохватный масштаб случившихся событий (и тем более – жизни вообще); тайная «зарифмованность» судеб – на смысловое единство исторического процесса, человеческого бытия. Мир одновременно огромен и предельно мал. Совсем не случайно Смысловский «под звездами» размышляет о постоянной угрозе гибели Земли и

⁷ Приведем лишь один, но очень показательный пример: «Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазетдин, кричавший в лесу офицер – его сын, подпоручик Галиуллин, сестра была Лара, Гордон и Живаго – свидетели, все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи» (Пастернак Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1990. Т. 3. С. 120).

человечества по «естественным» – или все же, если отрешиться от точки зрения персонажа, мистическим? – причинам, при свете которых «мелочами» видятся военные и революционные катаклизмы (21).

Многогеройность повествования Солженицына, не раз оговоренные писателем установки на изображение всякого персонажа как «главного» (в рамках соответствующего эпизода) и отказ от традиционного романного протагониста, безусловно, развивают и усиливают повествовательную стратегию Толстого. В «Войне и мире» мы тоже перемещаемся от героя к герою и, находясь в смысловом пространстве, например, Николая Ростова, воспринимаем его как «равного» остальным значительным персонажам (о которых можем на время забыть). Это иногда распространяется и на персонажей эпизодических (вспомним, например, эпизоды посещения Алпатычем оставляемого Смоленска или встречи Лаврушки с Наполеоном, в которых лица, чей сюжетный вес минимален, описаны – не только извне, но и изнутри – с тем же тщанием, что и избранные автором). Различить в Пьере Безухове «главного героя» гораздо труднее, чем, скажем, в Гриневе, Печорине или князе Мышкине. Однако от того Пьер не утрачивает своего особого статуса. Он единственный герой, который проходит сквозь весь роман (буквально от первой сцены, в салоне Анны Павловны Шерер, до последней, сна Николеньки Болконского, которым завершается первая, «сюжетная», часть эпилога). Личность и жизненные блуждания Пьера «сопрягают» три несхожих семьи (Болконских, Ростовых, Курагиных), за судьбами членов которых следит Толстой. Пьер, человек подчеркнуто «мирный» (и тем противопоставленный абсолютному большинству остальных персонажей-мужчин, профессиональных военных), оказывается в самой гуще войны (Бородинское сражение, занятая французами Москва, плен). Наконец, именно он приобщается к бытию и сознанию народа: общение Пьера с Платоном Каратаевым обладает куда большей значимостью (и для самого героя, и для автора и читателя), чем привычные контакты персонажей-офицеров с «нижними чинами».

Солженицын прячет протагонистов «Красного колеса» еще тщательнее, чем Толстой. Персонажи, попадающие в поле нашего зрения, действительно равномасштабны. Так обстоит дело, покуда речь идет о человеческих «историях» (иногда – с глубокими ретроспективными ходами) и характерах, семейных и сословных чертах персонажей, их восприятии и оценке происходящего (как конкретных, «сиюминутных» обстоятельств, в которых им выпало нечто решать и как-то действовать, так и событий глобальных, о которых они, включая как бы и не озабоченных историей и политикой мужиков в шинелях, так или иначе думают). Каждый из описанных в «Августе...» людей, в принципе, мог бы стать главным героем некоего романа (и это Солженицын дает нам почувствовать), но ни одно из этих гипотетических повествований не было бы равно тому, которое мы читаем. Для того чтобы запечатлеть смысловое единство происходящего, необходима не только постоянная смена точек зрения (один герой не может находиться всюду одновременно), но и особый пункт обзора. Картина, увиденная (и истолкованная) с этой позиции не превышает и не перекрывает все прочее, но позволяет (заставляет) соотносить их между собой. Отсюда качественное отличие от всех прочих двух героев. Это – Воротынцев, которому выпало прожить, прочувствовать и осмыслить всю «самсоновскую катастрофу»: от его приезда в штаб вроде бы еще успешно наступающей Второй армии (10) до «взрывного» доклада Верховному о причинах поражения (82). Это – Саня Лаженицын, пока еще не добравшийся до фронта, то есть напрямую не соприкоснувшийся с главными историческими происшествиями тех дней, и формально присутствующий в повествовании совсем мало – в двух первых главах, само зачинное положение которых, однако, предполагает особый смысловой ранг героя, и в главе 42-й, посвященной прощанию с Москвой и мирной жизнью и загадкам мудрого Варсонофьева (следует она непосредственно за обзором военных действий 15 августа, когда и произошел разгром армии Самсонова).

В «Августе...» Воротынцев – наиболее активный персонаж, пытающийся творить историю, быть ее субъектом. Сане здесь отводится роль одного из многочисленных «объектов»

истории (что, впрочем, не предполагает пассивности – свой личный выбор Лаженицын проговаривает уже в самом начале Узла, при встрече с Варей, и остается верным ему до конца). Это соотношение сохранится на протяжении всей эпопеи, и понятно почему. Саня воплощает юную Россию, то поколение, что было застигнуто катастрофой 1914–1917 годов в миг становления и просто еще не могло принять на себя основную ответственность за судьбу страны. Воротынцев – поколение зрелое, подошедшее к жизненному зениту и полное сил (для Солженицына тут важна параллель с мощным экономическим, промышленным, культурным, духовным ростом России на рубеже XIX–XX столетий), выстоявшее в первый революционный натиск, но не нашедшее должного ответа на новый, сокрушительный, вызов истории.

Предполагаемая случайная «не военная» смерть Сани в самом начале Гражданской войны (прототип героя, отец автора, погиб от полученной на охоте раны в 1918 году, до рождения сына) может быть прочитана как милость судьбы, избавление если не вовсе безвинного, то минимально ответственного за российские беды обычного благородного человека от ужасов братоубийства, поражения и окончательной потери либо свободы (подсоветское существование с постоянной лагерной перспективой), либо отечества (изгнание). В то же время этот, продиктованный семейной историей, сюжетный ход (не прописанный Солженицыным, но предчувствуемый его читателем) символизирует судьбу несостоявшейся «молодой России». Воротынцеву, воплощающему «несущее» поколение, то есть отвечающему за все, надлежит испытать свою чашу до дна. Ключевое значение его фигуры в рамках общего замысла Солженицына явствует из проговоренного выше (предсказание китайца о смерти в 1945 году). Что до «Красного Колеса» как завершенного сочинения, то сейчас преждевременно обсуждать по-прежнему доминирующую (хотя и иначе, чем в Первом Узле) сюжетную роль Воротынцева в «Октябре Шестнадцатого» и «Марте Семнадцатого», равно как и значимо «фоновое», ослабленное присутствие в них Лаженицына. В «Апреле Семнадцатого» резко акцентировано особое положение обоих героев (подробнее об этом будет говориться в Главе IV).

Наряду с поколенческими различиями для понимания взаимодополнительности героев в структуре «Красного колеса» (и его Первого Узла) весьма существенно, что Воротынцев и Лаженицын обретаются в разных жизненных сферах. Речь идет не о сословной принадлежности. То, что Воротынцев – потомственный дворянин, а Лаженицын – крестьянский сын, конечно, как-то на их личностях сказывается, но отнюдь не определяющим образом. (Не зря Варсонофьев рассуждает об условности в XX веке понятий «народ» и «интеллигенция» – 42.) Не слишком весомы и идеологические предпочтения героев. У Воротынцева, строго говоря, никакой идеологии нет, его верность «столыпинскому духу» основана на здравом смысле и нравственном чувстве; Санино книжное правдоискательство характерно для любого мыслящего юноши и, по сути, не затрагивает его душевного центра – потому и стал возможен отказ от толстовства. По-настоящему важно, что Воротынцев – профессиональный военный, а Саня – человек подчеркнуто мирного склада. Вполне резонен вопрос, который задает ему в самом начале повествования Варя: «Да разве у вас характер – для войны?» (1); увлечение Толстым тоже для Сани не случайно. Поставив Воротынцева и Лаженицына (лучших выразителей двух поколений и двух жизненных сфер) в особые сюжетные позиции, автор постоянно скрыто соотносит их с другими персонажами. «Молодые» и «взрослые», «профессиональные» и «сторонние» реакции на начало Первой мировой, прихотливо распределенные меж многочисленными участниками и наблюдателями исторических событий, складываются в объемную трагическую картину, единство которой придают два центральных героя. Воротынцев выходит из августовского ада с ясным сознанием: если мы будем так воевать, Россия погибнет. Лаженицын идет на войну, не представляя, что его там ждет. Горькая (и оказавшаяся ненужной) умудренность одного и светлая наивность другого, взаимно отражаясь и дробясь в отражениях дополнительных, заставляют читателя понять, что же все-таки случилось в Восточной Пруссии и почему поражение одной армии (формально рассуждая, отнюдь не фатальное для России – да и вое-

вали мы потом с переменным успехом больше трех лет) избрано писателем в качестве отправного пункта. Иначе говоря, почему «красное колесо» – колесо паровоза, на которое заворочено смотрит Ленин (22), горящая мельница в Уздау, вид которой изумляет Благодарёва и Воротынцева (25), отскочившее колесо телеги (30) – начало свое всеразрушающее и, как выяснилось, неудержимое движение уже в августе 1914 года.

Как известно от самого автора, уже задуманный им в 1937 году «большой роман о русской революции» должен был открываться описанием начальных событий Первой мировой войны – самсоновской катастрофы. Мысль о том, что роковые злосчастья России коренятся именно в ненужной войне, оборвавшей течение сложной и конфликтной, но органичной жизни, стала для писателя заветной. Вполне отчетливо она обозначена в рассказе «Матрёнин двор»:

– ...Война германская началась. Взяли Фаддея на войну.

Она уронила это – и вспыхнул передо мной голубой, белый и жёлтый июль четырнадцатого года: ещё мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом: смоляного богатыря с косой через спину; её, румяную, обнявшую сноп. И песню, песню под небом, какие уже давно отстала деревня петь, да и не споёшь при механизмах.
(Солженицын А. Собр. соч.: В 30 т. М., 2006. Т. 1. С. 133)

Рассказчик видит *других* Матрёну и Фаддея, не просто молодых и здоровых, но для другой – счастливой – жизни предназначенных. Эту жизнь у них отняла война. Рассказчик видит другую – истинную – Россию, совсем непохожую на искореженную лагерно-колхозную страну, где одинокая праведница становится объектом снисходительного презрения, а бывший чудобогатырь обращается в озлобленного и корыстного мстителя, многие годы спустя воздающего за единственный Матрёнин грех. Заметим, что обусловлен тот грех «германской войной» – Матрёна не дождалась попавшего в плен Фаддея, о судьбе которого никто из близких ничего не знал. Конечно, и старая Россия ввязывалась в войны (зачастую вовсе ненужные);⁸ и там рушились судьбы, черствели души, а праведник далеко не всегда был почтен любовью ближних. Рая на земле не было никогда. Но и того ада, в котором прошла почти вся жизнь незлобивой Матрёны и утратившего свои лучшие начала Фаддея (а они были – иначе не вспоминала бы Матрёна с такой нежностью о своей пропавшей любви), того ада, что за долгие советские годы стал единственной нормой бытия, в России прежде не было. Покуда не сорвалась она в бессмысленную войну. Потому так важна в «Матрёнинском дворе» несколькими строками запечатленная картина привольной и обильной жизни, утраченной гармонии природы и человека.

Эта же картина возникает в первых – «мирных», включенных в сюжетную сферу Лаженицына – главах «Августа». И важны здесь не только частности, не только подробные, изобилующие колоритными деталями, «державинские» описания «правильной» жизни крестьян Лаженицыных, которые могут позволить «странному» сыну учиться в университете (1), богатых землевладельцев Томчаков (3–6, 9), купца Саратовкина, в пятигорском магазине которого «приказчики считали позором ответ “у нас нету-с”» (8). Все эти картины «довольства и труда» мы воспринимаем при свете открывающего повествование символического пейзажа:

Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко белый и в синих углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помнилось бы докатить к нему за два часа.

Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько

⁸ Еще в лагерном 1948 году будущий автор «Красного Колеса» отчеканил: «Когда я горестно листаю / Российской летопись земли, / Я – тех царей благословляю, / При ком войны мы не вели» (Солженицын А. Дороженька. М., 2004. С. 218).

жили, – доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми грудями складывай всё сработанное ими или даже задуманное, – не поставили бы такого свермыслимого Хребта.

(1)

Человеческий труд может и должен быть осмысленным, творческим, требующим самоотдачи и за то награждающим работника сторицей. Как и в зачинных главах, на протяжении всего повествования Солженицын будет тщательно и восхищенно описывать тружеников-мастеров – крестьян, рабочих, инженеров, ученых, мыслителей, даже администраторов, политиков, военных, если они действительно мастера и труженики, если заняты делом, а не пустой либо корыстной говорильней. Человек обязан трудиться, по труду (физическому и духовному) он на земле оценивается. Но всякий труд (даже в самых высших его проявлениях) есть слабое подражание и продолжение сотворения мира, а всякое создание ума и рук человеческих – малость перед лицом этого, Богом однажды сотворенного мира. Его-то величие и явлено в зачине «Августа».

Горы – традиционный символ совершенства, сверхчеловеческой красоты и мощи. Само их присутствие в мире – напоминание о Боге, о вечности, о небесной отчизне, к которой тянутся снеговые, словно из чистого света составленные вершины, к которой вольно или невольно стремится человеческая душа. Горы напоминают человеку о его малости (что прямо сказано Солженицыным), но и зовут его в высь.

Не случайно мотив горной выси и восхождения к ней звучит и в Священном Писании, и в молитвах, и в мирской словесности (устной и письменной) многих народов. И, разумеется, в русской литературе Нового времени.

Обычно речь идет о движении к горам, неожиданное появление которых ошеломляет странствующего и наполняет его душу каким-то особым чувством. В том числе в русской литературе Нового времени. Так у Пушкина («Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года»), убирающего эмоции в подтекст: «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры, ровно за девять лет. Они были всё те же, всё на том же месте. Это – снежные вершины Кавказской цепи».⁹ Так в толстовских «Казаках»:

Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же.

– Что это? Что это такое? – спросил он у ямщика.

– А горы, – отвечал равнодушно ногаец.¹⁰

⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. 6. С. 436. На протяжении «Путешествия в Арзрум» Пушкин, разумеется, сложно варьирует «горную» символику (что уже становилось и еще может стать предметом изучения); здесь важно отметить наличие «рамки». Увидев горы после долгой разлуки, повествователь констатирует их неизменность (подразумевается сравнение с теми переменами, которые произошли и в жизни страны, и в жизни самого поэта). Покидающему Кавказ (на последнюю ночь пришлось буря) странствующему близ Казбека открывается прощальное «чудное зрелище»: «Белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы, и уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками». Готовя «Путешествие в Арзрум» к печати, Пушкин, несомненно, предполагал, что читатель распознает в процитированном фрагменте отсылку к уже опубликованному стихотворению «Монастырь на Казбеке», что резко усиливает контраст мира дольного, куда поэт возвращается, и влекущего, но пока недостижимого мира горного: «Далекий, вожделенный брег! / Туда б, сказав прости ущелью, / Подняться к вольной вышине! / Туда б, в заоблачную келью, / В соседство Бога скрыться мне!..» (Там же. Т. 6. С. 476; Т. 3. С. 134).

¹⁰ Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1961. Т. 3. С. 174. Заметим, что у Толстого горы открываются Оленину ясным утром (ср. «зорное утро» Солженицына) и возникает мотив оптического обмана (мнимой близости гор), также Солженицыным повторенный.

В присутствии гор мир для Оленина радикально меняется. Это относится не только к первым впечатлениям героя («С этой минуты всё, что он видел, всё, что он думал, всё, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор»), но и – при понятных оговорках – ко всей кавказской истории Оленина.

Несколько иначе мотив этот представлен у Лермонтова. В записи, открывающей «Княжну Мери», Печорин запечатлевает грандиозную картину:

На запад пятиглавый Бешту синее, как “последняя туча рассеянной бури”; на север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее <...> амфитеатром громоздятся горы всё синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом. – Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо синё, – чего бы, кажется, больше? – зачем тут страсти, желания, сожаления?

Горы напоминают человеку о его первоначальной чистоте, однако их присутствие не отменяет тех «страстей, желаний, сожалений», что владеют Печориным и обуславливают весь ход истории, случившейся на кавказских водах. Дуэль, в ходе которой Печорин становится убийцей, происходит в горах. Прямо перед поединком, уже предложив страшные его условия, Печорин вновь (не в первый раз за это утро) обращает внимание на пейзаж, причем взгляд его направлен сперва вверх, к горам, а затем вниз, в ту бездну, куда низвергнется Грушницкий: «Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус на юге вставал белою громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уже бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз, голова чуть-чуть у меня не закружилась: там внизу казалось темно и холодно, как в гробе; мшистые зубцы скал, сброшенных грозой и временем, ожидали своей добычи». На таком фоне жалкими выглядят как интриги Грушницкого и драгунского капитана, так и гордыня Печорина. Эффектная фраза, произнесенная им после гибели противника – «*Finita la comedia*» – не только свидетельствует о демоническом цинизме героя, но и, не отменяя трагизма развязки, характеризует всю случившуюся историю. Характерно, что запись о дуэли (сделанная уже в крепости N) открывается пейзажной зарисовкой, главное в которой – отсутствие гор (хотя формально Печорин, переместившись в Чечню, к ним приблизился): «Я один; сижу у окна; серые тучи закрыли горы до подошвы...».¹¹

Кавказские вершины у Лермонтова становятся свидетелями и другой, куда более масштабной трагедии – войны, жестокая нелепость которой очевидна в присутствии величественных гор, соединяющих землю с ясным небом. Это – ключевая мысль стихотворения «Я к вам пишу случайно, – право...» (неоднократно отмечалось, что здесь Лермонтов «предсказывает» толстовское понимание войны). Вечные горы, однако, могут не только равнодушно взирать на безумие человеческой вражды и ее следствие – смерть (так в стихотворении «Сон», где смертельно раненного героя окружают «уступы гор»), но и вкупе со всем природным миром (скрыто противопоставленным миру социальному) одаривать умирающего освобождающим просветленным покоем (или его обещать). Так в стихотворении «Памяти А. И. О<доевско>го»: «И вокруг твоей могилы неизвестной / Всё, чем при жизни радовался ты, / Судьба соединила так чудесно: / Немая степь синее, и венцом / Серебряным Кавказ её объемлет;/ Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, / Как великан склонившись над щитом»; так в поэме «Мцыри», где герой просит перед смертью перенести его в сад: «Оттуда виден и Кавказ! / Быть может, он с

¹¹ Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 261, 327, 331, 322.

своих высот / Привет прощальный мне пришлет, / Пришлет с прохладным ветерком...»; так в стихотворении «Горные вершины...».¹²

У Солженицына горы не возникают (Пушкин, Толстой) и не присутствуют как неизменный фон жизни и смерти (Лермонтов), а, обнаружившись в зачине повествования, затем исчезают. Реальный маршрут (Саня Лаженицын едет от гор) обретает символическую окраску – из мира уходит вертикаль, связывающая землю с небом.

Все идет вроде бы по-прежнему. Война в курортном Пятигорске почти не заметна, как будет потом незаметна и в Москве, прощание с которой отзовется сомнением Сани и Коти: «Естественно уходить в Действующую армию из Москвы рыдающей, траурной, гневной, – а из такой живой и весёлой не поторопились ли» (42). Но уже свербит в Саниной душе от мелькнувшего за окном поезда видения прежней жизни (2). А прогулка Вари Матвеевой, изначально окрашенная в траурные тона (прощание с умирающим благодетелем, которого надо бы презирать, а почему-то не получается; грусть от вымоленной, но оказавшейся пустой встречи с Сашей; вдруг еще раз осознанное собственное сиротство) завершается низвержением в ад (антитеза горной выси). Причем происходит это в присутствии «лермонтовских» гор («На юг, поверх сниженного города, синели отодвинутые, размытые, ненастойчивые линии гор»), где Варя из-за собственной наивности (она хочет послужить революции и поддержать человека, в котором видит героя-страдальца) становится жертвой анархиста-насильника. Войдя в мастерскую жестянщика, а затем в «скрытый задний чулан» (убывает свет, сужается пространство, нарастает звуковая какофония),

...она – если и начала понимать, то не хотела понять!
А он – страшно молчал!
Она задыхалась от страха и жара в этом чёрном неповоротливом капкане!
колодце!
И ощутила на плечах неумолимое давление его нагибающих рук.
Вниз.
(8)

Сюжетно эта – 8-я – глава продолжает 1-ю (оказавшаяся бессмысленной встреча с Саней), мотивно же сопрягается с «томчаковскими». В 6-й главе рассказывается, как в первую революцию Роман отдавал деньги террористам («наставникам» коммуниста-анархиста, «подземного кузнеца», тоже вспоминающего экс); в 9-й возникает – внешне в совершенно иной связи – мотив страшного колодца:

...А жалко стало ей (Ирине Томчак. – А. Н.) своей прошлой отдельной
ночи и даже сегодняшнего томительного одинокого, но и свободного дня. Если
стянуть покрывало – обнажится шахта, высохший колодец, на дне которого в
ночную бессонницу ей лежать на спине, разможжённой, – и нет горла крикнуть,
и нет наверх веревки.

Напомним, что 8-я глава появилась лишь во второй – двухтомной – редакции «Августа...», что эта единственная из новых глав, посвященная не историческому персонажу, и что именно в ней впервые вспыхивает роковой красный цвет. Заглавный символ повествования задан пока намеком:

В дешёвой соломенной шляпке она шла по безтенивому жаркому
тротуару – и вдруг оказался перед её ногами, поперёк тротуара –
ковёр! Расстеленный роскошный текинский, тёмно-красный с оранжевыми
огоньками.

¹² Лермонтов М. Ю. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 61, 76, 39, 489, 54.

<...>

Кто – всё-таки миновал, кто – смеялся и шёл. И Варя – пошла, наслаждаясь стопами от этой роскоши, – необычайный какой-то счастливый знак.

И далее в ходе разговора с анархистом «не покидало чувство, что к чему-то же сегодня счастливо лёг ей под ноги ковёр».

Вводя главу о Варе и анархисте, Солженицын усилил тревожное (знаменующее будущие беды) звучание всей «северокавказской увертюры»: ¹³ вступление России в войну подразумевает пробуждение (возрождение) революции, что и символизирует утрата вертикали. И хотя «Варя пятигорская» выйдет из чулана живой (мы слышим ее вздорный щебет в стайке столичных курсисток – 75), встречи ее с «героическим» (нацеленным только на насилие ради самого насилия) анархистом читатель не забудет. Здесь задан вектор – не вверх (горы растаяли), а вниз.

Или в пустоту. Избавленный отцом от еще недавно дамокловым мечом нависавшего призыва, Роман Томчак вдруг «ощутил весь... горячий интерес и смысл» газетных известий. И принялся двигать по карте флажки. «От него самого зависело, захватить или не захватить лишних десять-двадцать вёрст Пруссии». Последняя фраза зачинных глав: «Корпуса шагали!» (9).

Шагали, как выяснится вскоре, – в мешок будущего окружения, на гибель. Вязли в песках и болотах. Меняли маршруты по прихотям или оплошностям высшего начальства.

Жарились под солнцем. Изматывали себя безостановочным движением. Полегоньку мародерствовали. И день за днем не видели умело отходящего противника. То есть шагали в пустоту.

Уже в первой «восточнопрусской» главе (10) командующий обреченной Второй армии Самсонов догадывается, что его войско идет не туда и не так. И сходное чувство смутно возникает у только что прибывшего в самсоновский штаб Воротынцева. Но и ближнее начальство (командующий фронтом Жилинский), и начальство дальнее (Верховный и его окружение) смотрят не на крупномасштабные карты, с их утомляющими подробностями, что принуждают помнить о мерящих версты солдатах, но на карты общеевропейские. Почти как Роман Томчак, вспомнивший, что со времен Венского конгресса «эта прусская культяпка, выставленная к нам как бы для отсечения, никогда еще не испытывалась» (9). ¹⁴ Они гонят живых солдат вперед – совершенно в духе Романа Томчака. (Стык глав заставляет и неосведомленного в истории самсоновской катастрофы читателя встревожиться еще до того, как зловещая неразбериха будет представлена во всей полноте.) Они руководствуются высшими политическими соображениями, в которые не дает себе воли вникать верный царский слуга Самсонов. «Семипудовый агнец», разумный, достойный, опытный, но не готовый к новой войне – по-новому стремительной, жестокой и не прощающий малейших ошибок. И лишь ощутив на собственной шкуре весь ужас новой войны, которую Россия ведет по старинке, Воротынцев, в принципе гораздо более, чем Самсонов, готовый к вызовам современности, ¹⁵

¹³ Газетные фрагменты, представленные в главе 7", фиксируют общий переход от мира к войне. Разумеется, рекламные объявления, с которых начинается коллаж, не приурочены к какому-либо локусу, а исторические события, освещаемые далее, происходят преимущественно в столицах и на открывшемся театре военных действий. Важно, однако, что читает эти самые газеты (и проникается их оптимизмом) Роман Томчак (9) – газетная глава встроена в контекст сплочки глав «дофронтовых», северокавказских. Примечательно, что открывается газетный монтаж объявлением «ЖИВОЙ ТРУП тот, кто не знает волшебного действия лецитала...». В рекламе используется вульгарно вывернутое речение Толстого (название его трагической пьесы о грешном, но живом человеке в мертвом казенном мире). Тот же оксюморон (опять-таки со значением сдвинутым, но зловеще) служит прозвищем одного из главных виновников самсоновской катастрофы – генерала Жилинского. На совещании у великого князя (заклучительная глава Первого Узла) «Воротынцева крутило и жгло. Во всей России, во всей воюющей Европе никто ему не был так ненавистен сейчас, как этот *Живой Труп*» (82).

¹⁴ Ср. в навеянном эйфорией начала войны стихотворении Мандельштама «Европа»: «Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта / Гусиное перо направил Меттерних, – / Впервые за сто лет и на глазах моих / Меняется твоя таинственная карта!» (Мандельштам О. Полн. собр. стихотворений. СПб., 1995. С. 121).

¹⁵ «Лишь это узкое братство генштабистов (к которому принадлежит Воротынцев. – А. Н.) да ещё, может быть, кучка

инженеров знали, что весь мир и с ним Россия невидимо, неслышимо, незамечаемо перекатились в Новое Время, как бы сменив атмосферу планеты, кислород её, темп горения и все часовые пружины. Вся Россия, от императорской фамилии до революционеров, наивно думала, что дышит прежним воздухом и живёт на прежней Земле, – и только кучке инженеров и военных дано было ощущать сменённый Зодиак» (12). Здесь автор словно бы договаривает за героя, делая логичные выводы (по контрасту и с учетом реальностей XX века, которые Воротынцев предчувствует, а автор знает доподлинно) из грустных размышлений полковника о штабной дури, профессиональной слабости генералитета, общем презрении к военной науке, правиле старшинства при чинопроизводстве и прочей привычной и губящей армию рутине. Генерал Артамонов, в корпус которого скачет Воротынцев, очень скоро «проиллюстрирует» действиями «общие соображения» генштабиста – зловеще выразительно и, увы, неоспоримо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.